

во многих классах между зародышем и взрослым животным, и близкого сходства между зародышами [различных видов животных] одного и того же класса. Насколько я в состоянии вспомнить, в ранних рецензиях на «Происхождение» не было сделано ни одного замечания относительно этого момента, и я выразил, помнится, свое удивление по этому поводу в одном из писем к Аза Грею. За последние годы некоторые рецензенты стали приписывать эту идею целиком Фрицу Мюллеру и Геккелю, которые, несомненно, разработали ее гораздо более полно и в некоторых отношениях более правильно, чем это сделал я. Моих материалов по этому вопросу хватило бы на целую главу, и я должен был развернуть обсуждение его с большей подробностью, ибо очевидно, что мне не удалось произвести впечатление на моих читателей; однако именно тому, кто сумел добиться этого, и должна быть отдана, по моему мнению, вся честь [открытия].

В связи с этим должен заметить, что мои критики почти всегда обращались со мной честно, если оставить в стороне тех из них, которые не обладали научными знаниями, ибо о них не стоит говорить. Мои взгляды нередко грубо искажались, ожесточенно оспаривались и высмеивались, но я убежден, что по большей части все это делалось без вероломства. [...] В общем же у меня нет никаких сомнений в том, что слишком часто мои труды расхваливались сверх всякой меры. Я рад, что избегал полемики, и этим я обязан Лайеллю, который еще много лет назад, по поводу моих геологических работ, настоятельно рекомендовал мне никогда не ввязываться в полемику, так как она редко приносит пользу и не стоит той потери времени и того плохого настроения, которые она вызывает.

Каждый раз, когда я обнаруживал, что мною была допущена грубая ошибка или что моя работа в том или ином отношении несовершенна, или когда меня презрительно критиковали, или даже тогда, когда меня чрезмерно хвалили, и в результате всего этого я чувствовал себя огорченным, — величайшим утешением для меня были слова, которые я сотни раз повторял самому себе: «Я трудился изо всех сил и старался, как мог, а ни один человек не в состоянии сделать больше этого». Вспоминаю, как, находясь в бухте Доброго Успеха на Огненной Земле, я подумал (и кажется, написал об этом домой), что не смогу использовать свою жизнь лучше, чем пытаюсь внести кое-какой вклад в естествознание. Это я и делал по мере своих способностей, и пусть критики говорят, что им угодно, в этом они не смогут разубедить меня. [...]

1876–1881

Печатается по: Ч.Дарвин. Воспоминания о развитии моего ума и характера (Автобиография). М.: Изд-во АН СССР, 1957. 252 с.

О.Э.МАНДЕЛЬШТАМ

К проблеме научного стиля Дарвина

...Вспомнил, что это искусство шелкуна
нигде не было описано как следует.
*Дарвин. Путешествие вокруг света
на корабле «Бигль»*

Во все критические эпохи естественные науки были ареной особо ожесточенной борьбы за мировоззрение. Только внимательно изучив историю воззрений на природу, мы поймем закономерность в смене литературных стилей естествознания.

Дарвин не навязывает природе какой бы то ни было цели, он отрицает за нею какую бы то ни было благодать. Всего более далек он от мысли приписывать ей волю или разумные зияющие свойства.

С удивительным постоянством Дарвин дает захватывающие снимки животного или насекомого, застигнутого врасплох в самом типическом для него положении.

«Щелкун, брошенный на спину и приготовляющийся к прыжку, загибает голову и грудь назад, так что грудной отросток выдается наружу и помещается на краю своего влагалища. Пока продолжается это загибание головы назад, грудной отросток действием мышц сгибается подобно пружине; в это время животное опирается на землю краем головы и надкрыльев».

Нам уже трудно оценить всю небывалую свежесть этого описания, которое так и просится на пленку кино. Для того чтобы понять всю глубину художественно-научной революции, осуществленной Дарвином, сравним эту хищную, насквозь функциональную зарисовку жука с одним из описаний Палласа – натуралиста линнеевской школы, автора «Путешествия по разным провинциям Российского государства»:

«Азиатская козявка. Величиной с сольтициальный жук, а видом кругловатая с шароватой грудью. Стан и ноги с прозеленью золотые, грудь темнее, голова медного цвета. Твердокрылья гладкие, лоснящиеся, с примесью фиолетового цвета – черные. Усы ровные, передние ноги несколько побольше. Поймана при Индерском озере».

Насекомое преподнесено как драгоценность в оправе, как живопись в медальоне.

Систематика Линнея нуждалась в таких описаниях: «предустановленная гармония» в природе постигается непосредственно через классификацию, познавать и восхищаться одно и то же.

«Сие изящное строение сердца с приходящими к нему жилами служит единственным побуждением к кровообращению», – говорит Линней.

Почти столетие отделяет Линней от зрелого Дарвина. Между ними – Кювье, Бюффон и Ламарк. Структурные и анатомические признаки в натуралистических сочинениях возобладали над чисто живописными приметами. Искусство «миниатюры» Палласа пришло в упадок. Но по существу мало что изменилось.

На место неподвижной системы природы пришла живая цепь органических существ, подвижная лестница, стремящаяся к совершенству. Вместо бога-архитектора (Линней) у деиста Ламарка – конституционный монарх. Классификация, по Ламарку, нечто искусственное, как бы волосная сетка, накинутая человеком на разнообразие явлений. Что же остается натуралисту, как не восхищаться по-прежнему, но уже не единичными феноменами природы, а ее классами, расположенными в порядке поступательного развития.

Французская революция оставила глубокий отпечаток на стиле естествоведов. Тот же Бюффон в своих научных трудах выступает в роли революционного оратора. Он восхвалял «естественное состояние» лошадей, ставил людям в пример табуны диких коней, воздавал почести гражданской доблести коня.

А Ламарк, пишущий свои лучшие труды как бы на гребне волны Конвента, постоянно впадает в тон законодателя и не столько доказывает, сколько декретирует законы природы.

Замечательный прозаизм научных трудов Дарвина был глубоко подготовлен историей. Дарвин изгнал из своего литературного обихода всякое красноречие, всякую риторiku и телеологический пафос во всех его видах.

Он имел мужество быть прозаичным потому, что имел многое и многое сказать и не чувствовал себя никому обязанным ни благодарностью, ни восхищением.

Лишь сочетание мысли с могучим инстинктом естествоиспытателя позволило Дарвину добиться таких результатов.

Я имею в виду инстинкт отбора, скрещивания и селекции фактов, который приходит на помощь научному доказательству, создает благоприятную среду для обобщения.

«Происхождение видов» состоит из 15 глав. Каждая из них расчленяется на 10–15 подглавок, размерами не больше воскресного фельетона из «Таймса». Книга построена с таким расчетом, чтобы читатель с каждой точки обозревал все целое труда. О чем бы ни говорил Дарвин, куда бы ни уводили извилины его научной мысли, проблема стоит всегда в своем полном объеме. Факты наступают на читателя не в виде одиночных примеров-иллюстраций, а развернутым фронтом – системой.

Приливы и отливы научной достоверности, подобно ритму фабульного рассказа, оживляют дыхание каждой главы и подглавки. Только в совместном звучании, только в созвездиях научные примеры Дарвина получают значимость. Дарвин избегает выписывать весь длинный «полицейский» паспорт животного со всеми его приметами. Он пользуется природой, как великолепно организованной картотекой. В результате – изумительная свобода в расположении научного материала, разнообразие фигур доказательства и емкость изложения.

Дарвин рассказывает о том, как сложилось его убеждение. Так, рассказав о сухопутных хищниках, превращающихся в водных, и пояснив это превращение переходными типами, он тут же оговаривается: «Если бы меня спросили, как некоторые насекомоядные и четвероногие развились в летучих мышей, я бы, пожалуй, смутился. Но это не важно».

Дневник путешествия на «Бигле» с его новым принципом естественнонаучной вахты продолжается в «Происхождении видов». С той лишь разницей, что Дарвин протягивает корреспондентские нити к бесчисленным адресатам, несущим ту же самую службу, во все концы земного шара.

Движимый инстинктом высшей целесообразности, Дарвин счастливо избегает «зато-варивания» природы, тесноты, нагроможденности. Он на всех парах уходит от плоскостного каталога к объему, к пространству, к воздуху. Это ощутимо даже в самых сухих и служебных звеньях «Происхождения видов».

Чувство цвета у Дарвина больше всего изощряется на низших формах живых существ, где оно приходит на помощь характеристике их строения. В путевом дневнике Дарвина встречаются цветовые характеристики крабов, спрутов, медуз, моллюсков, заставляющие вспоминать самые смелые красочные достижения импрессионистов.

Дарвин строго следит за профилем своего доказательства. В поисках разнокачественных опорных точек он создает настоящие гетерогенные ряды, то есть группирует несхожее, контрастирующее, различно окрашенное. Он протягивает координаты от примера к примеру – в ширину, в глубину, в высоту, воздействуя с помощью подлинной селекции материала.

«Я назову только три случая: инстинкт, побуждающий кукушку откладывать яйца в чужих гнездах, рабовладельческий инстинкт муравьев и строительство пчелиных сотов».

Автор выхватил из гущи опыта всего-навсего три примера.

Первый окрашен биологически (размножение), второй – исторически (рабовладельчество), третий – архитектурно (пчелиные соты).

Блестяще разработанная столетними усилиями терминология в зоологии и в ботанике сама по себе обладает исключительной впечатляющей, образной силой. У Дарвина названия животных и растений звучат как только что найденные меткие прозвища.

Дарвина и Диккенса читала одна и та же публика. Научный успех Дарвина был в некоторой своей части и литературным. Читатель испытывал жесточайшую реакцию против всего сентиментального, кисло-сладкого, пуританского. Этот читатель всему на свете предпочитал характерное, картинам природы – социальные контрасты. Реализм Чарльза Дарвина пришелся как нельзя более кстати. Его научная проза, с ее биографической сухостью, с ее атмосферической зоркостью, с ее характеристиками в действии, на взрывающихся пачках примерах, была воспринята как литературно-библиографический документ.

Быть может, всего более подкупало читателя то, что Дарвин не расточал литературных восторгов перед законами и тенденциями, которые с такой ясностью утвердил.

Глаз натуралиста – орудие его мысли, так же как и его литературный стиль.

Бодрящая ясность, словно погожий денек умеренного английского лета, то, что я готов назвать «хорошей научной погодой», в меру приподнятое настроение автора заражают читателя, помогают ему освоить теорию Дарвина.

Окруженный жесточайшими врагами, Дарвин никогда не покидает спокойного уравновешенного тона.

Не обращать внимания на форму научных произведений – так же неверно, как игнорировать содержание художественных. Элементы искусства неумолимо работают в пользу научных теорий.

Никто не сумеет популяризировать Дарвина лучше его самого. Его научный стиль необходимо изучать. Но подражать бесполезно, потому что историческая ситуация, при которой стиль возник, никогда больше не повторится.

1932

Печатается по: Мандельштам О.Э. Собр. соч. в 4 т. Т. 3. Стихотворения. Проза / сост. и коммент. П.Нерлера, А.Никитаева. М.: Арт-Бизнес-Центр, 1994. 528 с.